

**В.Б.КАТАЕВ**

## **“ВСЕ ЗА ВСЕХ ВИНОВАТЫ”**

**(к истории мотива в русской литературе)**

*“Все за всех виноваты”.*

**(Ф.М.Достоевский)**

*“Нет в мире виноватых”.*

**(Л.Н.Толстой)**

*“Виноваты все мы”.*

**(А.П.Чехов)**

Вот три утверждения трех гениев русской литературы, сходство-несходство которых как бы требует сопоставить, всмотреться, вдуматься. И окажется, что утверждения эти подводят к самой сути того, что завещала нам литература прошлого.

Прежде чем подойти к сопоставлению, вспомним, что вопрос *“кто виноват?”* дважды (*“А кто виноват? То-то, кто виноват?”*) задает условный повествователь *“Записок из Мертвого дома”*, размышляя о погребенной на каторге напрасно молодости, о погибших даром *“могучих силах”*, погибших *“ненормально, незаконно, безвозвратно...”*

Вопрос *“кто виноват?”* в этом месте *“Записок”* остается без ответа. Ответом на него является вся книга Достоевского, и ответ этот выглядит двояким. Размышляя в главе *“Каторжные животные”* о том, что губит человека на каторге или, по крайней мере, не дает *“смягчить, облагородить суровый и зверский характер арестантов”*, рассказчик роняет замечание: *“Ни порядки наши, ни место этого не допускали”*. *“Порядки наши”*, *“место”* здесь — синонимы того, что другие авторы, размышлявшие над сходными вопросами, называли *“враждебная сила обстоятельств”*, *“среда”*.

Но в то же время, дав потрясающие описания этих *“порядков”* и этого *“места”*, автор *“Записок из Мертвого дома”* повел читателей в глубины человеческих душ, и оказалось, что *“философия преступления несколько потруднее, чем полагают...”*. *“...Когда он понял, что я добираюсь до его совести...”* — вот еще одно замечание рассказчика, указывающее, куда Достоевский взгляды-

вается, решая загадку преступности. Таинственная природа добра и зла, их соотношение в душах разных каторжных, способность или неспособность их услышать голос совести уже в этой книге писателя переносят центр тяжести в вопросе об ответственности с внешнего, со “среды” и “порядков”, — на иное, лежащее в глубинах человеческих душ, переводят вопрос о вине и ответственности в нравственный и религиозный план.

Уже там были преступники, которые “совсем не знали раскаяния”, “как будто считая себя выше всех остальных”, презиравшие “слабого человека”. А сам рассказчик “Мертвого дома”, признав, что те, кто четыре года преследовал его и других дворян-каторжных жестокой ненавистью, есть носители правды, что они — “необыкновенный народ”, и преклонившись навсегда перед этой правдой, совершил тем самым акт христианского смирения.

К вопросу о вине и виновности, поставленному в “Записках из Мертвого дома”, Достоевский потом будет возвращаться в “Дневнике писателя” и в “Братьях Карамазовых”. Но на поиски писателем ответа на вопрос “кто виноват?” стоит взглянуть шире, поставив их в контекст исканий русской литературы XIX века.

“Кто виноват?”, “Виновата ли она?” — эти вопросы ставили в середине 40-х годов в заглавиях своих произведений литературные сверстники Достоевского Герцен и Писемский. При всем несхождении талантов этих писателей, нечто общее можно увидеть в ответах на поставленные ими вопросы о том, кто несет ответственность за жизненные неудачи и трагедии их героев. Эти ответы — неопределенное “судьба”, “власть рока” или более определенное — давящие героев социальные обстоятельства, то есть все та же “среда”. Против нее следовало выступать, как герценовскому Бельтову, с “протестом, каким-то обличением их (то есть противостоящих герою представителей общества — В.К.) жизни, каким-то возражением на весь порядок ее”<sup>1</sup>. Это та самая теория среды, против которой так горячо выступил в своей статье 1873 года из “Дневника писателя” Достоевский.

Но задолго до этого выступления уже было заявлено в русской литературе и иное толкование вины, правоты и ответственности — Гоголем в его последней книге. “Мы только спорим из-за того, кто прав, кто виноват; а если разобрать каждое из дел наших, придешь к тому же знаменателю, то есть — оба виноваты. ... Из всех народов только в одном русском заронилась эта верная мысль, что нет человека правого и что прав один только Бог”<sup>2</sup>. При этом в качестве правого народного суда Гоголь вспомнил приговор, вынесенный комендантшей из пушкинской “Капитанской дочки”: “Разбери, кто прав, кто виноват, да обоих и накажи”.

Именно в этом, только намеченном Гоголем, направлении и шел Достоевский, пролагая дорогу одной из основных идей русской литературы.

“Not guilty” — этой формулой Роберта Оуэна восхищается Герцен в “Былом и думах”, комментируя ее так: “Человек вовсе не преступник par le droit

naissance <...>, он так же мало отвечает за себя, как и другие звери, и, как они, суду не подлежит. ... Стоит его поставить со дня рождения в такие обстоятельства, чтоб он мог быть не мошенником, так он и будет так себе, хороший человек. А теперь общество рядом нелепостей наводит его на преступление, а люди наказывают не общественное устройство, а *лицо*"<sup>3</sup>.

Итак, вина — на общественном устройстве, следовательно, цель — изменение его. Совсем иное видение вещей утверждает в "Братьях Карамазовых" Достоевский.

"Воистину всякий пред всеми за всех и за все виноват" (14; 262) — говорит старец Зосима перед своей кончиной. Над этой мыслью, как чрезвычайно важной в понимании романа, писатель работал упорно, последовательно. В сохранившихся записях есть история девушки-утопленницы, о причинах ее трагической гибели говорится: "кто же, как не город, виноват? Кажется, так. Но город — значит, другие. Кто же, как не ты, виноват — вот где правда" (15; 428). В окончательном тексте романа эта правда утверждается в книге "Русский инок".

"Всякий из нас пред всеми во всем виноват", — эта идея Зосимы занимает, по замыслу писателя, центральное положение в архитектонике романа. Она призвана служить ответом на "бунт" Ивана, на его "слезинку замученного ребенка", она — главный аргумент теодицеи. В самом деле, по законам евклидова разума невозможно опровергнуть те доводы, которыми Иван доказывает абсурдность, "ахиною" Божьего мира. Но есть иной путь — вдруг осознать (не умом, а сердцем), что все мы — люди, народ, человечество — несем вину за все, что совершается в Божьем мире.

Зосима говорит об этом языке монаха: "сделай себя же ответчиком за весь грех людской <...> ты-то и есть за всех и за вся виноват"; "прими и пострадай за него (за преступника — В.К.) сам, его же без укора отпусти" (14; 290, 291). Богословы и религиозные философы, комментирующие идейное противостояние Ивана и Зосимы, ссылаются на постулат о первородном грехе и проклятии, тяготеющем над миром, как на первопричину дисгармонии, вырастающей из Ивановых "фактиков" (это, как показывает опыт чтения со студентами статей В.Розанова, С.Франка, мало убеждает).

Но Достоевский, художник, исследователь человека, приводит, как думается, и иной довод, который должен убедить в правоте именно Зосимовой правды. Это — та радость, в которой пребывают "принявшие на себя грех" — и Маркел, и "таинственный посетитель". Это доступное именно им понимание, что "жизнь есть рай, и все мы в раю, да не хотим знать того, а если бы хотели узнать, завтра же и стал бы на всем свете рай" (14; 262).

Это не угрюмое навязывание идеи страдания, в чем не раз обвиняли Достоевского. Для писателя важна именно *добровольность*, то есть свобода такого признания, и *радость* от этой победы над собой ("мне ведь самому хочется пред ними виноватым быть"), и, главное, вытекающее отсюда чувст-

во *братской любви* к людям (“Не знаю, как их и любить. Пусть я грешен пред всеми, зато и меня все простят, вот и рай”).

Нет здесь и речи об изменении общественных условий, все свершается в сердце человеческом. Как свершается? Ответ: “Тут тайна”. Но тайна великая: “мимоидущий лик земной и вечная истина соприкоснулись тут вместе. Пред правдой земною совершается действие вечной правды” (14; 265).

В романе путем Зосимовой правды идет прежде всего брат Митя. Это он, сидя в тюрьме, ощутил в себе нового человека, это в нем воскрес новый человек. “Все за всех виноваты”, “все мы за всех виноваты”, “все — “дитё”. За всех и пойду, потому что надобно же кому-нибудь и за всех пойти” (15; 31). И если человек, добровольно решивший пойти путем страдания, повторяет путь Христа, добровольно страдающего Бога, это и есть живое доказательство присутствия Бога в мире. И апофеозом не страдания, а именно единения людей, увидевших друг в друге не врагов, а братьев, заканчивает Достоевский свой роман.

Русские писатели, как мы видели, до Достоевского и одновременно с ним искали ответа на вопрос *кто виноват?* Ответ Достоевского вел к небывалой широте понимания, к тому, чтобы “мимоидущий лик земной и вечная истина соприкоснулись тут вместе”. Новые звенья в этих исканиях русской мысли, русского слова пришли с Толстым и Чеховым.

Еще только приступая к созданию “Братьев Карамазовых”, Достоевский увидел в “новом романе” Льва Толстого близкое себе: “В “Анне Карениной” проведен взгляд на виновность и преступность человеческую. Взяты люди в ненормальных условиях. Зло существует прежде них. Захваченные в круговорот лжи, люди совершают преступление и гибнут неотразимо... <...> Во взгляде же русского автора на виновность и преступность людей ясно усматривается, что никакой муравейник, никакое торжество “четвертого сословия”, никакое уничтожение бедности, никакая организация труда не спасут человечество от ненормальности, а следовательно, и от виновности и преступности. <...> Сам судья человеческий должен знать о себе, что он судья не окончательный, что он грешник сам, что весы и мера в руках его будут нелепостью, *если* сам он, держа в руках меру и весы, не преклонится перед законом неразрешимой еще тайны и не прибегнет к единственному выходу — к Милосердию и Любви” (25; 200 — 202).

А три десятилетия спустя Лев Толстой будет искать заглавие незавершенного произведения: “Нет виноватых”, “Никто не виноват”; “Нет в мире виноватых”... В разговоре о смертной казни Толстой скажет: “Мне вот именно, если Бог приведет, хотелось бы показать в моей работе, что виноватых нет. Как этот председатель суда, который подписывает приговор, как этот палач, который вешает, как они естественно были приведены к этому положению, так же естественно, как мы теперь тут сидим и пьем чай, в то время, как многие зябнут и мокнут”<sup>4</sup>.

Казалось бы, Достоевский и Толстой говорят противоположное: “Все за всех виноваты” — и “Виноватых нет”. Но различие лишь внешнее. Облеченные во взаимоотрицающие формулы, мысли Достоевского и Толстого направлены в конечном счете к одной и той же цели (или сходным целям). Как сделать, чтобы преодолелось главное зло — “отъединение” — и установилось “братолюбивое единение” меж наших русских людей? Как устранить тот “естественный” порядок вещей, при котором одни люди вешают других? Как выйти из этого круга зла к христианской, братской любви?

Ответ Достоевского — через признание себя виноватым в зле, существующем в мире. Ответ Толстого — через взаимное прощение, непротивление злу насилием. Ответы, так и не услышанные теми, кому они предназначались.

Следом в русскую литературу пришел Чехов. Писатель, занимавший во многом резко отличную от Достоевского позицию. Иначе подходивший к вопросу о бытии Бога (“это вопрос специальный, решать его не дело писателей”), иначе смотревший на народ (“все мы народ, и все то лучшее, что мы делаем, есть дело народное”). Но вот в 1890 году какая-то сила поднимает благополучного, вошедшего в моду беллетриста и драматурга и гонит его через всю Россию на Сахалин, на каторгу. Он совершает подвиг — в старинном и точном смысле слова, — взвалив на себя непомерный труд, не раз оказываясь на волосок от смерти, пожертвовав здоровьем.

Ехал на Сахалин Чехов с убеждением, которое высказал в письме к А.С.Суворину. Что сахалинская каторга — зло, в общем, ясно и понято всем, никто этого не оспаривал. Но чья в этом конкретно вина, *кто виноват?* Законы? Центральные и местные власти? Красноносые сахалинские смотрители? Нет, убежден Чехов: “Виноваты не смотрители, а все мы. ... Мы сгноили в тюрьмах миллионы людей, сгноили зря, без рассуждения, варварски...”<sup>5</sup>. Кто — мы? Те, кто называют себя обществом, интеллигенцией. Речь идет о полнейшем равнодушии русского общества к месту “невыносимых страданий”.

Виноваты все мы. Мы миримся с Сахалином и с ложью о нем — ложью как официальной, так и “протестантской”. Главное — работать и быть справедливым. Именно это он стал говорить читателям и в произведениях, навеянных непосредственно Сахалином, — “Гусев”, “Остров Сахалин”, — и в совершенно с поездкой не связанных. Все они “просахалинены”.

Виноваты в сахалинском зле, если верить Павлу Ивановичу, “протестанту” из рассказа “Гусев”, — “они”, “эти самые”. Чехов своим “виноваты все мы” воевал с традиционной для русской интеллигенции позицией в ответе на вопрос *кто виноват?* Как и Достоевскому, сословные, классовые, партийные ответы представлялись ему и несправедливыми, и узкими. В перспективе же нашей истории они-то и возымели большое и зловещее будущее.

Чехов, идя вслед за своими великими предшественниками, так же, как они, отказывается возлагать вину за творящееся зло на какую-либо одну группу,

особо виновную часть нации. Хотя его “виноваты все мы” все-таки иное и по пониманию “вины”, и по вытекающим следствиям. Земной и реальный ум Чехова видит конечные последствия призывов великих пророков. На каторгу отправиться судьям, каторжных же отпустить – вариант для Чехова не менее утопичный, чем упразднить современный суд, лишив прокуроров и судей права выносить приговоры. Смысл и следствия чеховского “виноваты все мы” не столь непостижимы и непосильны для обыкновенного человека. Чехов как бы высветляет в идее, брошенной его великими предшественниками, зерно практической морали.

Говоря “виноваты все мы”, он утверждает: *виноват каждый*, ставя ударение на обоих словах. Чувство ответственности каждого за совершающееся зло – и вывод: не забывать о зле, не обольщаться своим неучастием в нем, не питать иллюзий насчет собственной непричастности. Это и есть чеховское понимание справедливости в разговоре о зле каторги. Справедливости, жажду которой Достоевский назвал высшей и самой резкой характеристической чертой нашего народа.

До любовного единения и братолюбивого общения в современной России едва ли не так же далеко, как и в России Достоевского. А это значит, что слово писателя, вдохновленное его мечтой и надеждой, продолжает сохранять силу завета для нынешнего и грядущего поколений.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Герцен А.И. Собр. соч. в 30 т. Т. 4. М., 1955. С. 123.

<sup>2</sup> Гоголь Н.В. Духовная проза. М., 1992. С. 186.

<sup>3</sup> Герцен А.И. Собр. соч. в 30 т. Т. 11. М., 1957. С. 207, 221, 222.

<sup>4</sup> Гусев Н.Н. Два года с Толстым. М., 1912. С. 140.

<sup>5</sup> Чехов А.П. Полн. собр. соч. и писем в 30 т.; Письма в 12 т. Т. 4. М., 1976. С. 32.